

Александр Глотов

Идеология большевизма в русской литературе XX века : новый аспект религии

Studia Rossica Posnaniensia 27, 79-85

1996

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

ИДЕОЛОГИЯ БОЛЬШЕВИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА: НОВЫЙ АСПЕКТ РЕЛИГИИ

THE IDEOLOGY OF BOLSHEVISM IN THE 20TH CENTURY RUSSIAN
LITERATURE: A NEW ASPECT OF RELIGION

АЛЕКСАНДР ГЛОТОВ

ABSTRACT. Basing on examples from many works by M. Gorky, W. Mayakovsky, M. Makarenko and M. Sholohov the author analyses the ways in which the propaganda of the new Bolshevik faith used familiar evangelical motifs, images and norms.

Aleksander Głotow, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, al. Wojska Polskiego 69, 65-077 Zielona Góra, Polska – Poland.

Сопоставление марксизма (в различных наименованиях и ипостасях – социализма, коммунизма, большевизма, ленинизма, материализма, атеизма, что в сущности суть синонимы) с религией (христианством, православием) уже давно стало если не общим местом, то аксиомой во всяком случае. Уже в 1918 году первые же идеологические противники большевиков из либерального лагеря, пытаясь осознать и объяснить характер происходящего, утверждали: „Христианство есть религия царства небесного, социализм же есть религия царства земного”¹, „Социализм – это христианство без Бога”². В 1925 году в ходе известного диспута А. В. Луначарского с митрополитом А. И. Введенским последний, ссылаясь на ранние труды своего оппонента, имел смелость открыто заявить: „Я считаю, что атеизм есть тоже религия”³. А перед этим, в 1922 году, его однофамилец, ученый-теолог А. И. Введенский, подходя к вопросу с философской позиции, доказывал: „С научной точки зрения атеизм тоже есть вера, как и допущение существова-

¹ С. А. Аскольдов, *Религиозный смысл русской революции*. В: *Вехи. Из глубины*, Москва 1991, с. 245.

² А. С. Изгоев, *Социализм, культура и большевизм*. В: *Вехи. Из глубины*, ук. соч., с. 369.

³ *Диспут А. В. Луначарского с митрополитом А. И. Введенским 21 сентября 1925 года*. В: *На переломе. Философские дискуссии 20-х годов. Философия и мировоззрение*, Москва 1990, с. 304.

ния Бога, именно вера в несуществование Бога, а вовсе не знание⁴. В общем, все сходилось на том, что в России воцарилась новая вера, которая, учитывая наличие Коминтера, имеет претензию стать религией мировой, подобно исламу, христианству, буддизму. Глубже всех в целом ряде работ развил эту идею сочувствующий коммунизму, несмотря на изгнание, Николай Бердяев⁵.

Первое, что приходит в голову поэтам, пожелавшим воспеть происходящие перемены, это – осенить их именем и фигурой Иисуса Христа. Что и делает в 1918 году Александр Блок в поэме *Двенадцать*, а также Борис Пастернак в одном из стихотворений. Сергей Есенин в цикле революционно-христианских поэм (*Июния, Сорokoуст, Небесный барабаничик*) создает образ страны, овеваемой дыханием новых пророков, говорящих „по Библии”. Лев Троцкий в 1923 году, оценивая положение дел в текущем литературном процессе, несколько грубовато, в пролетарской манере, выразился следующим образом: „Целое поколение поэтов... ввело небесную иерархию в свои ритмы... Под углом поэтической формы тут совершилась только национализация Олимпа. В конце концов Марс или святой Егорий – это смотря по тому: хорей или ямба... В стихах почти безотлучно водворяется Христос. Самой ходкой тканью поэзии – в век машинизированной текстильной индустрии – становится богородицын плат”⁶.

Однако ярко выраженный атеизм и антиклерикализм новой идеологии весьма скоро дал понять размышлявшим поэтам, что ни о каком единении православия и социализма не может быть и речи. Мысль эта была воплощена, как говорится, „весомо, грубо, зримо”, и вот уже тот же Сергей Есенин недоуменно восклицает: „Стыдно мне, что я в бога верил, горько мне, что не верю теперь”. Прямое и непосредственное поэтически-религиозное ассоциирование на официальном литературном уровне утратило смысл и практически прекратило существование.

Парадокс ситуации заключался, как утверждал в 1937 году Н. Бердяев, в том, что „коммунизм, не как социальная система, а как религия, фанатически враждебен всякой религии и более всего христианской. Он сам хочет быть религией, идущей на смену христианству, он претендует ответить на религиозные запросы человеческой души, дать смысл жизни”⁷. Совершенно верно,

⁴ А. И. Введенский, *Судьба веры и Бога в борьбе с атеизмом*. В: *На переломе...*, ук.соч., с. 336.

⁵ Н. А. Бердяев, *Духи русской революции*. В: *Вехи. Из глубины*, ук.соч., с. 250-289; Н. А. Бердяев, *Истоки и смысл русского коммунизма*, Москва 1990, с. 224; Н. А. Бердяев, *О назначении человека*, Москва 1993, с. 383.

⁶ Л. Д. Троцкий, *Литература и революция*, Москва 1991, с. 44-45.

⁷ Н. А. Бердяев, *Истоки и смысл...*, ук.соч., с. 129.

марксизм, как нас учили, не догма, а руководство к действию, это всеохватывающая система миросозерцания, где в принципе недопустима идеологическая толерантность, где нельзя себе даже представить экуменическое богослужение.

И эта идеология, 25 октября 1917 года перейдя из разряда литературных мечтаний в разряд созидających структур, принялась бурно формировать все полагающиеся уважающей себя религии общественные институты, которые в свою очередь начали продуцировать искомый идеологический арсенал. И в первую голову то, что требовалось для вовлечения в лоно новой церкви как можно более широких масс населения – новое искусство.

Однако это новое искусство создавалось людьми из старого мира, со старыми, подчас неосознаваемыми ценностями ориентирами, с прежними мерками. Тут ситуация была такая же, как у писателей-фантастов XIX века. Когда они хотели описать самодвижущийся аппарат будущего (читай: автомобиль), то они не мудрствуя лукаво отпрягали от кареты лошадь, привязывали двигатель – и аппарат готов.

Так и произошло с патриархом советской литературы Максимом Горьким, который, миновав свои „буревестнические“ годы, вступил в начале XX века в эпоху пролетарских революций. И революции эти он воспринял по образу и подобию евангелическому. Как и положено классику, совершил он это деяние задолго до того, как вразумились все остальные. То есть, Горький начал создавать новую систему религиозно-политических ценностей, прямо не называющих христианство, но так или иначе отталкивающихся от привычных и понятных сюжетов, норм, мотивов. Говоря о романе *Мать*, критик Г. Митин в 1989 году утверждал: „Эта книга написана свободным художником“⁸. Однако статью свою критик назвал – *Евангелие от Максима* и всю ее посвятил доказательству того, что „в своей книге Горький попытался соединить духовную революцию начала I века с социальной революцией начала XX века“⁹. Да, действительно „ситуация Сын-Мать в книге Горького отражает ситуацию Сын-Мать в Евангелии, только в перевернутом виде: если в Евангелии на первом плане Сын, то в книге Горького – Мать“¹⁰. Но где же здесь свобода? Горький вполне отчетливо опирался на евангельский трафарет, заполняя его религиями, которые умещались в этот трафарет. И было в самом деле создано евангелие, главная заповедь которого была совершенно отчетливо сформулирована: „Революционеры – это лучшие люди на земле“.

⁸ Г. Митин, *Евангелие от Максима*, „Литература в школе“ 1989, № 4, с. 48.

⁹ Там же, с. 57.

¹⁰ Там же, с. 61.

До октября 1917-го года революционерами могли называться представители довольно многих политических течений, после этой даты – только одно: большевики. Все остальные автоматически стали контрреволюционерами, и фраза Горького уже к ним не относилась. Чем всегда отличались религиозные заповеди, так это удобством в применении к изменившимся обстоятельствам.

Таким образом, Горький своим романом заложил прочный фундамент в создании развитой системы духовно-социалистической литературы. Причем ценность книги заключалась не только в том, что она давала перспективу, но и в том, что она под совершенно новым углом зрения освещала и то, что уже имелось в наличии. Продолжая аналогию критика, назвавшего *Мать* Евангелием от Максима, попробуем классифицировать в рамках системы то, что имеет непосредственное отношение к идеологии большевизма.

Коль скоро *Мать* – Евангелие, то есть Новый Завет, то по логике должен быть и Ветхий Завет. И если Новый Завет – книга заведомо эмоциональная, художественно-описательная, то Ветхий Завет – творение скорее законодательное. И на роль такой книги вполне годятся произведения основоположников. О чем и Бердяев писал: „Сочинения Ленина – священное писание, в священном писании все вообще вопросы должны быть предрешены”¹¹. Нельзя, разумеется, исключить из канона и Маркса с Энгельсом. Попытался было в свое время задним числом войти в круг патриархов и Иосиф Сталин, однако ничего нового, кроме пары сомнительных афоризмов, не предложил и тем предрешил свою судьбу.

Евангелий, как известно, было несколько. По степени убежденности и экспрессивности вполне достойна быть причисленной к этому жанру и книга Николая Островского *Как закалялась сталь*. Жизненный путь Павки Корчагина, с юных лет проявлявшего пролетарскую нетерпимость и решительность, прошедшего искусы и соблазны мирского бытия, прошедшего жизнь в аскезе служения идее всенародного спасения, страдающего физически, но не сдающегося – еще более, чем образ Павла Власова, соотносится с обликом Иисуса Христа евангелического канона. А то, что здесь, в отличие от Горького, почти не просматривается облик Матери, так это, в общем, никак не противоречит Евангелию, где Христос открыто отказывается от матери. Концепция Горького в этом отношении – скорее католическая, нежели православная. Евангелие от Николая, думается, по праву встанет рядом с Евангелием от Максима.

¹¹ Н. А. Бердяев, *Истоки и смысл...*, ук. соч., с. 133.

Полагаю, что только незнание предшествующей биографии Чапаева помешало Фурманову написать Евангелие от Дмитрия. А все необходимые предпосылки для этого имелись. Не случайно Василий Иванович в апокрифическом жанре анекдота вошел в фольклор.

Многие литературные критики, требовавшие от Шолохова дописать *Тихий Дон* так, чтобы у них не оставалось сомнений в идеологической праведности Григория Мелехова, прямо толкали его на путь создания Евангелия от Михаила. Но тут Шолохов устоял.

А то обстоятельство, что все претенденты на роль Иисуса ничтоже сумняшеся льют человеческую кровь, то оправдание этому находится в словах „Не мир, но меч”. „Довольно жить законом, данным Адамом и Евой, – восклицал Маяковский, в дореволюционные годы в своем творчестве плотно дискутировавший с Богом, а теперь отложивший дискуссии в сторону и выдвинувший неотразимый аргумент, – Ваше слово, товарищ маузер!”

Спектр религиозной литературы многообразен и далеко не исчерпывается Заветами. К числу наиболее читабельных жанров относятся, например, жития святых. Эту функцию в советской литературе с успехом выполняли произведения так называемой Ленинины. Начиная от поэмы Маяковского и пьес Погодина черты революционной святости основоположника государства стали непререкаемой и неотъемлемой принадлежностью жанра. Благостная идеализация вождя революции особенно ярко проявилась, например, в по-своему гениальном стихотворении Твардовского *Ленин и печник*. Добродушный человек, за спиной которого стоит страшная в своей мощи, но справедливая сила, – такой стереотип воссозданный Твардовским, вполне идентифицируется с обликом святого, непосредственно контактирующего с Всевышним и при необходимости прибегающего к его помощи. А мысль о том, что „Ленин и теперь живее всех живых” своей мистической убежденностью настолько пропитала советскую литературу, что Андрей Вознесенский, довольно далеко в своем генезисе отстоящий от Маяковского, в поэме *Лонжюмо* исповедует идею даже не просто религиозную, а чисто клерикальную – идею о нетленности и чудодейственности мощей святого: „Однажды, став зрелей, из спешной повседневности мы входим в Мавзолей, как в кабинет рентгеновский”. Малейшие отклонения от канона возбуждали подозрения в ереси. Недаром Мариэтта Шагинян, затронувшая вопрос о национальных корнях Ленина, испытала все возможные трудности с публикацией своих книг. Не случайно Михаил Шатров, показавший Ленина в отчаянии, в гневе, в одиночестве, то есть в состояниях естественных для простого смертного, но не святого, произвел фурор своим, в общем-то, кроме этого ничем не примечательными пьесами.

Существует, кроме Ленинианы, довольно обширная Марксена, менее известная Энгельсена и совсем уже забытая Сталиниана. Последняя совершенно отеклась от каких бы то ни было человеческих черт и ограничилась признаками сугубо монументальными. А когда Михаил Булгаков в пьесе *Батум* попытался было оживить облик вождя, вспомнив его мало героическую молодость, то это ему даром не прошло.

Особо поучительны в религиозной литературе примеры того, как враги обращаются к нее. В христианстве самый яркий образец – жизнь гонителя христиан Савла, который превращается в апостола Павла. Пролетарская культура, исповедующая принцип коллективизма, не предоставляет столь же яркого случая индивидуального преобразования духа, но изобилует примерами коллективного революционного перевоспитания. *Педагогическая поэма* А. Макаренки и *Республика ШКИД* Г. Белых и Л. Пантелеева замечательны в этом плане еще и тем, что малолетние воры и грабители, становящиеся юными коммунарами и самыми яростными апостолами коммунистической веры, готовыми ради нее, подобно Павлику Морозову, отдать на заклание собственного отца, что вполне сообразуется не только с Христом, отказавшимся от матери и родни, но и с ветхозаветным персонажем, готовым собственной рукой зарезать родного сына, так вот эти самые апостолы символизируют собой по своему малолетству именно идею плодотворного будущего. Евангельские сцены, где Христос гораздо более благожелателен к льгнувшим к нему детям, нежели к бестолковым рыбакам, которых судьба дала ему в непосредственные продолжатели его дела, весьма красноречивы.

Почетное место в христианском пантеоне занимают мученики за веру. Советская литература достигла здесь особых успехов. Всеволод Вишневский даже изобрел подходящее определение жанра, назвав одну из своих пьес – *Оптимистическая трагедия*. Эпоха войн и революций дала столько материала для восхождений на Голгофу, что одним перечислением можно исчерпать любой лимит времени и места. Тут и фадеевский *Разгром*, где вся суть книги сводится именно к евангельской притче о зерне, которое, чтобы прорасти, должно погибнуть. Тут и искушения святого Симеона в *Поднятой целине* Шолохова, где мученик Давыдов проходит весь отведенный ему круг мытарств – от кровавых мозолей на пахоте до позорного избивания во время бабьего бунта – и ликуя погибает от пули врага. „Лучший тип коммуниста, – писал Н. Бердяев, – т.е. человека, целиком захваченного служением идее, способного на огромные жертвы и на бескорыстный энтузиазм, возможен только вследствие христианского воспитания человеческих душ,

вследствие переработки натурального человека христианским духом”¹². Псалмом коммунистического мученичества можно считать талантливое стихотворение А. Межирова *Коммунисты, вперед!*

Разумеется, есть в этой литературе и свой набор псалмов, и свои выдающиеся проповеди, и своя богатейшая апокрифическая литература, к которой относится большинство литературных диссидентов и так называемых внутренних эмигрантов, и своя теология, сформулировавшая все необходимые заклинания социалистического реализма, и многое другое, что заслуживает отдельного и обширного разговора. Данный эскиз – только пролегомена к теме, вывод из которой представляется пока, в силу существующей обстановки, чрезмерно политизированным и потому отдаленным от истины.

¹² Там же, с. 138.